

Проща

Повесть

«И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына...»

Я СМОТРЕЛА на воду. Недалеко от берега плавала лодка. Старая деревянная лодка. Не было в ней рыбака, закидывающего сутулую удочку, не плескалась и не билась вода о ее ребра, потому что не было того, кто бы баламутил эту прозрачную, мягкую озерную гладь. Должно быть, она оторвалась... а может быть, ее спустили. Она стояла на воде, как будто ждала чего-то. Или кого-то... А может, это все тот же... ожидающий твари...

Самое интересное было для меня желание творить... творить из такой красоты — такую тварь. Ведь так тихо все: и дышит... и цветет... поет... плачет. Вдруг мне показалось, что все это тоскует по своему одиночеству. Может, самый несчастный день для всего этого и для этой самой лодки — день шестой?.. И только сейчас, эта тихая тоска — это те самые минуты, в которых все еще было до нас. И осталось совсем немного до нас, но еще есть это время, когда мож-

но стоять на воде и слушать тишину. Есть еще это время, прежде чем рыболов закричит: «Эй, поди сюда!» — прежде чем на этом просторечии он погонит ее к берегу...

И вдруг я увидела, что всю ночь все живое вокруг пировало по случаю нашего отсутствия. Но теперь, чуть забрезжил рассвет, — лодка бежит к берегу, водомеры скользят по воде, гонимые купальщиками, аисты срываются с гнезд и летят от этих вспуггиков — и все бежит куда-то, летит, скачет, — лишь бы не встречаться с этими нелепо рожденными чудищами...

Я думала, это происходит как-то быстрее. С другими — оно всегда быстрее. Мне хотелось, чтобы все было так: птицы поют — и все прекрасно: солнце, лес, брусника и мы с Сашей — ведь мы счастливы! По-настоящему счастливы. А потом на пятки наступит это холодное: да, мы счастливы? Счастлив. Или счастлив? А еще большее, когда счастлив... Что делать дальше?.. И опять череда вопросов. Вы не думайте, что приехал в святое место — и тут (вам) — мир чудес. Но мне, правда, хотелось, чтобы все было хорошо. Не замечать этих странных теток, волокущих сморчков-мужчин за шиворот. С криками: «Этому помолились, этому тоже, а свечки, свечки, везде поставили?..» И суеты их хотелось не замечать. И то, как они всей кучей

обливались колодезной водой. Так, как будто спортом занимались. И казалось, вот-вот вырвется голос из радиопередачи: «И... начали: раз-два — выше, в сторону, раз-два — выше, выше... Мо-лодцы!»

Гнать, гнать все это подальше, а глаза вперились и смотрят. Зачем, гадкие, глядят! Стой и молись. Своих, что ли, мало!

Мы ехали на велосипеде. Бабушка подстелила на багажник старую сетку, чтобы было не больно. Велосипед был тоже старый. Сашка специально набирал скорость, потом крутил руль то влево, то вправо, наводя на меня неимоверный страх. Я обхватывала Сашку за пояс руками и визжала на всю деревню.

А между тем вид был чудесным... Я болтала ногами и радовалась. Как же все это прекрасно! И поле, засеянное капустой, и эти женщины из незнакомой деревни, весело пропалывающие ее. А может быть, не весело. Поля с лужами сена. Как будто туча прошла этой стороной, выронив густые и плотные валики сухой травы. Туго скрученные шпагатом, эти смешные комочки рассыпались по всему полю. Все чудесно! Проезжая по лесу, мы видели на обочине усыпанные ягодами поляны... Мы прыгивали с велосипеда и начинали собирать. Плотные, уже налитые брусника с черникой лопались в руках, оставляя чернильные кляксы. Никого здесь не было, кроме нас. Проползет под ногами уж или сорвется с ветки неизвестная птица... — так много мест для уединения... Чувствуешь одичалость. Будто родился глухим, живешь глухим, пока не прорвет эту немотную пленку в ухе своим отдаленным стуком дятел или чей-то шорох. Здесь живет и дышит каждая ягода, пригнувшаяся к душитому, глубокому мху...

Без обеда

С САШИНОЙ МАМОЙ мы сидели на веранде. В большом чане, полном воды, мокла лоза. На мне был большой брезентовый фартук. На коленях лежали секатор, лущик... Сашина мама принялась обучать меня плетению из лозы. Я училась старательно. Плотно прижимая к основанию сплетенного круга маленькие мокрые прутики, я делала все точь-в-точь как она. Пять часов — и ваза для фруктов была готова, а обед — нет...

Я очень испугалась, когда услышала шум. Откуда-то из дома, из кухни. Звук падающей кастрюли.

— Что это? — спросила я.
— Забыла об обеде... злится.
— Как это?
— Ничего, — она погладила меня по голове, — сейчас уедет...

Мы поднялись с Сашей на второй этаж. Сели на кровать. Саша смотрел на мою вазочку...

— Красивая!
— У вас так часто?
— Не надо об этом!
— Но как не надо? Почему вы терпите? Это и ваш дом! Здесь все ваше. Ну, проснись же, можно по-другому, я знаю... Ну что же ты! Слышишь?
— Нет, по-другому нельзя! Мы — другая семья... Не надо, не лезь...

Аист важно прогуливается по полю. Пасутся коровы, и пастух поспешно стелет газеты, доставая ароматную стряпню местной кухарки. Подперев рукой голову, выплюнув соломку, он кладет кусочек сала на хлеб. И нюхает... А ты едешь мимо всего этого.

Навасёлки... Когда-то здесь действительно было всего несколько домиков, новых селений. А теперь это целая деревня с устоявшейся жизнью, со своим диалектом, со своим пастухом, которого колотят вечером за сбежавших коров тучные тетки...

Забудзьки... Какие все-таки люди изобретательные на названия. В голове сразу рисуется что-то невероятное. Попадаешь в эту страну, волшебную, почти мистическую, — и забываешь все. Остаешься там жить навсегда. И живешь, живешь, так никогда и не вспоминая, что была какая-то другая жизнь до. Туча воробьев взвизгивает в воздух. На повороте — почта — почта. Деревянная, из огромных брусьев. А сбоку прибит металлический ящик, выкрашенный в синий цвет. И на нем белыми буквами — Почта. Нигде не вызывает столько удивления этот обыкновенный синий ящик. Где люди не знают об электронных письмах. Я подхожу к нему — и просто заглядываю внутрь. Эти почерки, ожидающие косые буквы. И фамилии, названия соседних сел. Они пишут. Пишут кому-то!

Коханаука... Каханне — это любовь на белорусском. А это место... какое-то тоже фантастическое. Где все влюблены. Наверное, с такими же надеждами глядел Моисей на землю, в которую привел заблудшее стадо. С такой же верой: вот теперь, уже здесь, наконец-то, не будет ничего, кроме любви. Мне хочется, чтобы это было так. Так хочется, чтобы это было так... сегодня, когда мы едем с тобой туда.

Вишни

МЫ ВЕСЕЛО собирали вишни: я, его сестра Жанна и он. Я стояла на треноге и пела русские народные песни, прерываясь, чтобы выплюнуть косточки. Вишни в такую пору особенно вкусные. Полные, налившиеся бордовым цветом, они пускают сок в пальцах: он стремительно течет по рукам, заполняя в закатанные рукава папиной рубашки, просачиваясь на узорчатую материю неуклюжими кровавыми плямами.

— У меня полное! — кричишь ты...

— И у меня! — слышишь голос с соседней вишни...

— А я быстрее!..

— А у меня чище!.. листьев нет!..

Ведро за ведром тащите в дом из этого фруктово-ягодного сада изобилия.

— Есть хочу! — крикнула я. — Пойду домой...

— Нет!.. там отец. Он с работы приехал — пусть поест; уедет — тогда...

— Но я хочу сейчас есть, брось...

— Нет!.. я же сказал!.. он будет злиться...

— Да что вы все на цыпочках у него ходите!

Вы что, не люди, не члены одной семьи? Да и что тут такого: человек хочет есть! Мы с утра тут по деревьям скачем... Нет, вы как хотите...

Я уверенно зашла в кухню... Отец Саши посмотрел на меня искоса, продолжая молча разогревать суп.

— И мне налейте, пожалуйста, — выпалила я.

Он неохотно и как будто с укором зачерпнул половником молочный суп. Все говорило в нем о его нерасположенности трапезничать со мной. «Нет, — думала я, — сегодня и всегда, когда я буду приезжать в этот дом, мы будем есть вместе. Или я вообще сюда не приеду».

Оба стола были заняты свежим мясом и салом поросенка.

— Откуда свежина? — дерзко, явно игнорирую необычный факт сопresутствия, спросила я...

— Откуда-откуда... Благо хозяин в доме...

— Может, помочь упаковать в холодильник?.. а то есть ведь негде: столы заняты...

В его глазах читалось явное недовольство тем, что я нарушаю какие-то, казалось бы, раз и навсегда заведенные порядки. Еще больше отца Саши злило то, что он не мог нагругить мне, он даже не мог позволить себе быть хладнокровным и сдержанным; я ловила каждую возможность быть соучастницей в его присутствии. Я была чужой — и в этом было мое преимущество, — я была — новой...

После того, как мы упаковали всю свежину, мы сели за стол вдвоем. Я приготовила салат,

который мы с мамой всегда готовили, ожидая гостей. Конечно, я сделала это специально. Я хотела вынудить его быть со мной другим. Я хотела лишить его возможности упрекнуть меня в чем-либо. Мне хотелось видеть его обречение на себя хорошего. Я снимала ложкой молочную пенку, медленно накручивала ее на ложку, а потом топила в тарелке. Отец Саши нервно наблюдал за моей экзекуцией пенки, но так ничего и не сказал.

— Ну как вам мой салат? Правда, вкусный?

— М-да... — протянул он, как бы так, не имея в виду вопроса.

— Ну жена ваша — находка! Такие пирожки испекла! Больше всего люблю пирожки с капустой, — резво сказала я, убирая с нижней губы капусту.

— М-да... Ну как, вишен на компот собрали? — сказал он так, как будто все это время мы говорили о вишнях.

— Да. Спелые совсем... Вон руки как поцарапала, — я согнула руки и вытянула вперед, — щиплет!

— Ладно, пора мне на работу, труба зовет, — сказал он в неуклюжей, иронично-доброй интонации...

Я осталась на кухне. Подперла рукой голову и смотрела в окно. Саша с Жанной все еще собирали вишни. Я видела, как Саша бросает вишневые косточки в волосы Жанны, и она, делая вид, что не замечает, засовывала их в металлическую трубочку, явно готовясь к атаке. Почему они молчат? Как они могут жить так спокойно и радостно! Ведь нельзя, нельзя так, чтоб человек, живя *здесь*, давал обет послушания... И кому? Ему, ему, ему...

Кому отдать это порченное сало? Это порченное мясо. Это тело, испещренное пороками. Возвращаешься — налипает оно. Не отмахнуться! Не спрятаться! Не убежать! А самое страшное — не откреститься. Крещусь в две руки — липнет.

«А вот поворот на Прощу!» — закричала я... Небольшой крест около огромного камня. И иконка над крестом с изображением Серафима Саровского в дни его длительного поста на камне. Мы сворачиваем и едем по обычной лесной дороге в виде большой борозды, с посаженными в нее шишками, хвойными палочками, муравьями, листьями... Слева и справа от нас — такое изобилие брусники! Пучеглазые, глядят они равнодушно на эти жадные, измученные души паломников.

Мы добрались до Прощи под вечер. Тихая и мудрая, она встречала нас в этой густой чаще

соснового леса. Справа, из деревянного бруса, — домик настоятельницы. На лавке — кот. Чуть впереди — сестрический приход. Здесь живут сестры храма.

Целое поле цветов вокруг... Даже на грядках с картошкой и луком — астры и гладиолусы. Яркими оранжевыми пятнами настурций выкрашены грядки с капустой и морковкой. Повсюду цветы. Узкая песочная дорожка ведет прямо к святому источнику. Вот здесь мы с Сашкой услышали голос тихо молящейся сестры. Бесшумно набрав воды в колодце, мы подошли к купальне. Читая тропарь в этих сооруженных женщинами трех деревянных, ярко-синих стенках, я окатила себя тремя ведрами воды и разрыдалась. Холодно... Колючая вода впивалась в теплое тело. А в душе что-то расколосось и стало тяжело. Будто кто-то обидел. Хочется обвинить кого-то в том, что тебе сделали больно, что тебе холодно — и некого. По-женски безудержно я начала хлопать в этой маленькой купальне, смотрящей прямо в чашу леса. Только огромные деревья смотрели на голую, какую-то болезненно скулящую девушку. И этой девушкой была я. «Совсем больная», — подумала я про себя и еще больше разрыдалась.

Потоп

НОЧЬЮ БЫЛ сильный дождь. Такой сильный, что с потолка маленькой комнатки, где хранились запасы муки и сахара, начало капать. Саша толкнул меня в плечо.

— Дождь... Вставай... Мама уже внизу!

— Не-а, спать... — пролепетала я и рухнула на подушку.

Саша быстро сбежал по лестнице. Спросонья я слышала, как кто-то возится внизу. Еле заставила себя встать. Я стояла на лестнице в пижаме, не понимая, что происходит. На цыпочках Сашина мама выносила ведра с водой. Саша вытаскивал мешок с подмокшим сахаром. Жанна собирала воду тряпкой и выжимала ее в таз.

— Что происходит?

— Тихо, папа спит!..

— Бери, помогай...

Саша кинул мне тряпку. «Папа спит, папа спит», — недовольно бурчала я себе под нос... «Папа спит...» — если бы не Сашина мама, я бы поднялась наверх. Но я была с ними в ту ночь. Почти два часа мы спасали содержимое каморки. Сашина мама светила нам фонариком... Мы ловили нашими тряпками пятна луж, собирая их в ведра и тазы. А главное: все старались не шуметь. Делали спокойно. Даже я. Делала и

знала, что вот сейчас мы все уберем и так же тихо вернемся в свои постели. И только я буду продолжать спрашивать себя о чем-то.

А кто-то спал... Почему он спал? Почему ему разрешили спать?..

— Вы слышали, ночью дождь был? — сказала я, дожевывая за завтраком бутерброд с сыром.

— Нет... я спал...

— А мы полночи убирались. Воды... — Сашина мама посмотрела на меня недвусмысленно — я замолчала. Обиделась. Мне было обидно, что разговор не продолжится...

Сестра Анна уже собиралась назад в город, оставляя нас на попечение сестры Раисы. Мы сели за стол. Она смотрела на нас пучеглазыми карими глазами с укором. Я сразу поняла, что делаю что-то не так. Под столом я дернула за рукав Сашку, увлеченно глядевшего на салат с помидорами, заносив над ним голодную ложку. Сестра перекрестилась и начала читать молитву. Мы с Сашкой тоже перекрестились и начали молиться вместе с ней. Обед был весьма скромным. Жидкий капустный суп и салат из свежих помидоров. Сашка пытался подавить чувство голода хлебом.

За обедом сестра Раиса была довольно красноречива. Она рассказывала о том, как заболела раком, и о том, как пришла в храм после болезни. Я гнала всякие мысли о ее психологическом портрете. Я устала. Я устала от оценок, мнений, болтовни. Мне хотелось относиться ко всему беспредметно. Приехав в Прощу, я дала обещание во всем слушаться сестер, быть участливой без участия. Я хотела познакомиться поближе с собой. Все мне было ново и интересно. Такой беспрекословной и кроткой я себя не знала. Это была внутренняя необходимость в таком поведении.

Мед

Я ВЫШЛА В ОГОРОД, срывая напоследок красные сочные сливы. От жадности руки тянулись во все стороны: то к вишне, то к алыче, то к смородине. Уже кололо в кишечнике. Живот вздулся. А бирюзовое платье было таким узким, что живот уже невозможно было спрятать. Он еще больше болел от напряжения при втягивании. И я откровенно его выпучила. Я увидела Сашку, смеющегося в окне. Он показывал пальцем на мой живот...

— Александра! — крикнул мне Сашин отец...

— Да...

— Ну что, уезжаешь?.. Отъедайся напоследок... Хорошо у нас! В огороде!

— Да... Отъелась уже. Я спрятала под панамкой живот...

— Ты знаешь... Я вот тут для тебя подарок... — он открыл дверцу машины и достал оттуда литровую банку. — Полакомишься...

— О-оо! Мед я люблю... Спасибо...

Утром мы привычным маршрутом отправились в храм. Трава была росной. Мои кеды быстро стали мокрыми, и я опять стояла в храме с промокшими ногами, посиневшими губами, бледная, с впальми от голода щеками. Стоять было непривычно. Мы с Сашкой всякий раз робко, но страстно смотрели в уголки страниц, которые перелистывала сестра, потому что знали, что на двадцать третьей заканчиваются утренние молитвы.

Молитва не ложилась в сердце. Было трудно сосредотачиваться. Хотя мне очень нравилось необычное звучание церковнославянского языка. Потом сестра читала Псалтирь. Ноги начинали так ныть. Стоять прямо я уже не могла. То и дело переминалась с ноги на ногу. Сашка прятался за спину, давил смех. Мне и самой было смешно. Всякий раз я насильно возвращала себя к молитве, такой странной, певучей, скорой. Может, поэтому такой скорой, чтобы не было времени подумать о чем-то другом. Но я все равно думала. Вспоминала родственников. Чаще всего вспоминала о том, что мне надо сделать завтра, послезавтра, в следующем году, в конце... жизни. На этом месте становилось совестно, что я так далеко думаю и не могу два часа не думать обо всем этом. Сашка встал на ребро стопы. Пятки болели. Меня начал тоже душить смех. Потом он внезапно бухнул на пол и начал усиленно молиться, шевеля губами, знаменуя себя крестом. Сестра остановила чтение и сделала замечание, что в этом месте молитвы не коленопреклоняются. Сашка поднялся и отошел в сторону. Мы переглянулись и еле сдержали смех. Каждый знал причину этого молитвенного жеста, столь неистового желания коснуться коленями пола. Уже в самом конце молитвы я понимала праздность нашего веселого настроения и начинала молиться искренне. Мы чувствовали себя пришельцами. Чувствовали, что здесь есть место каждому и каждый этот идет нашим путем. И так будет всегда.

И вместе с тем в нас стало больше стыда, от которого было страшно. Было даже страшно смотреть друг на друга, как будто мы знали, что увидим там все то, что мучило нас, все то, от чего мы хотели избавиться. Как будто это вышло изнутри, но не сошло с лица. Как будто рассыпь

наших грехов лицом должна была напоминать о них. Если мы смотрели друг на друга, то каждый, как в зеркале, видел отражение себя самого. И снова становилось страшно. Страшно, что эта сыпь никогда не пройдет.

Это тебе, отец...

САША НИКОГДА не отчаивался в его нелюбви к себе. Он шел напролом. В день его пятидесятилетия он был особенно нервным. Долго сидел за гитарой. А когда я зашла, то увидела, что он что-то шептал ей.

— Почему он не любит тебя?.. Ты спрашивал его когда-нибудь об этом?

— Да.

— И...

— Молчит. До сих пор молчит.

— Он говорил когда-нибудь тебе, что любит?..

— Хочется верить, что да... А вдруг, вдруг... это было тогда, когда я не смог запомнить эти слова. Так жаль, что я их не смог запомнить тогда...

Гостей в ресторане было много. Родственники, друзья по работе...

Саша вышел в центр зала, подставил микрофон поближе к гитаре и начал играть. Он играл чудесно. Лучше, чем всегда. Это «лучше» было каким-то мистическим. «Лучше», которое уже не зависит от тренировок. Какой-то универсальный порядок начинает говорить в нас.

— Это тебе, отец...

После праздничного вечера, уже дома, он подошел к нему и подарил крестик.

— Это тебе, отец...

Вечером

МЫ СИДЕЛИ на втором этаже их дома. В детской комнате. Я лежала на диване и разглядывала детскую стенку «петушок». Я вспоминала, как Саша стыдился ее. Он не хотел, чтобы что-то было не так. Боялся, что я увижу их старый коричнево-красный плинтус; старый мягкий уголок, который хорошие хозяйки прячут под искусственными мехами или узорчатыми вязаными пледами; старый стол (если лежать на полу, под ним, можно увидеть на старой пожелтевшей этикетке: «Кухня Ольга, Зр. 40к.»), этот стол тоже преображают свежие полевые цветы в вазе, голубой с ромашками кувшин. Бывает заплесневелая старина, а бывает такая, домашняя, от которой пахнет романтикой прошлого.

Этот «петушок» казался мне таким милым. Яркие красные шкафчики с молочными ручками. Сразу вспоминается детский сад: эти забавные шкафчики со знаковыми рисунками на дверцах, где заботливые мамы оставляли сменную обувь, колготки или носки. Каждый раз, когда ты выбегал в коридор, ты узнавал свой шкафчик (на каждом из них были нарисованы или трактор, или шарик, или машинка с милицейской мигалкой).

Вскоре к нам присоединилась Сашина мама. Вечер перетекал в ностальгию по прошлому. Она вспоминала то время, когда была солисткой Ленинградской филармонии... когда все еще могло быть впереди...

— А он говорил вам (ну, уже тогда, когда все испортилось), почему все так произошло?.. Когда-нибудь?

— Да, говорил. Где-то семь лет назад. Ему было очень плохо вечером. Он что-то почувствовал, пришел ко мне и сказал: «Таня, мне плохо, кажется, все... Ты хорошая мать нашим детям...» Он попросил прощения за все...

— И...

— А утром ему стало легче.

— И неужели ничего не изменилось?

— Ничего!

До причастия оставалось два дня. Два дня усиленной молитвы и поста. Для меня чувство голода никогда не было испытанием. Я сносила его с легкостью. Зато с унынием и гневом справиться было сложнее. Сашка напротив: во время молитвы его не покидало ощущение голода. Я знала, что мыслью он несется домой, к пище, которая никогда не была запретной. Но он тоже стеснялся этих мыслей. Все-таки храмовые потолки тесны для наших похотей. Он крестился, произнося «аминь» в тех местах молитвы, где говорилось о грехе тайноядения, чревоугодия; и так каждый крестился в тех местах, в которых видел свои слабости. Молясь, каждый из нас по крестному знаменю мог прочитать наше исповедальное, покаянное слово. Иногда мы с Сашкой сбивали сестру, произнося свое «аминь» там, где его не было в молитве. Но мы с Сашкой знали: это все оттого, что мы отвлекались, и поэтому просили Господа вернуть нас к слову Божьему.

В первые дни сбивались мы часто. Видно, каждому из нас было еще много о чем думать помимо молитвы, к которой было такое сопротивление. Преодоление этой заботы о завтрашнем дне очень трудно. Но мы решили бороться, потому что сил думать обо всем самим, жить на попечении друг друга — не было. Этот путь из-

жил себя внутри нас. Мы уже чувствовали необходимость Его голоса, Его помощи, Его Воли — не нашей.

Сашка после скромного завтрака ушел в палатку. Я пошла за ним с православным целebником в руках. Юбка уже болталась и еле держалась на бедрах. Я чувствовала свои ребра без прикосновения. Они были обнажены, как бабушкина стиральная доска. Я ушла в чтение. Сашка лежал у меня на животе.

— Саш, я хочу есть.

— И что?

— Твоя мама положила мне кусок сала...

— Сашка, хороший мой, послезавтра причастие. Не надо!

— Но я не могу. Я все время думаю о том, что мне хочется есть!

— А ты помолись!

— Это кощунство. В молитве просить о спасении души, а думать о спасении тела.

— Ну и ешь!

Я вышла из палатки. Зашла за сестрический приход — и разрыдалась. Мне казалось, что так человек и не начнет бороться с собой. Ему нравится быть собой. Нравится страдать, нравится болеть, любить... Нравится жить и вкушать аромат всего, что его окружает. И трупный запах души — тоже нравится. Спаси меня, Господи!.. Но не сегодня — дай еще пожить, а потом, завтра, завтра, когда-нибудь, спасай, слышишь, когда я призову тебя, но не сегодня, а сегодня — дай уснуть в объятиях любимой, дай поесть вволю, дай мне стакан вина, дай мне радости и смеха, смеха — больше смеха, Господи, дай!..

Сашка шел прямо ко мне. Я вытерла слезы.

— Что?

— Сало было в двух пакетах!

— И что?

— Кот разодрал и погрыз...

Я начала смеяться. Все громче и громче. И не могла остановиться. Какое это чудо, когда вас слышат. И еще больше, что вы. Сашка был грустный-грустный. По-детски смешной и наивный, может быть, даже невинный с этим своим салом.

— Что же ты плачешь, дурочка моя! Ну что же ты смеешься, ну вот видишь, — твоя правда. Остался твой Сашка без сала! Будем причащаться. Не плачь, любимая! Не надо!

Сестра Анна и сестра Раиса уехали на неделю в город. Мы с Сашей остались одни. Это был настоящий подарок. Это была по-настоящему здоровая, насыщенная жизнь. Утро мы начинали молитвой, обливались водой. Саша колот дрова. Я — складывала в старый сарай. Потом

мы украшали грядки с цветами красным обожженным кирпичом. Пропалывали огород, снова молились, обливались. Мы садились на деревянную лавку недалеко от купальни и начинали рыдать. Что это? Мы не знаем. Только внутри становилось чище, легче. Легче было смотреть друг на друга. Не страшно. Думалось чисто. И гляделось. На красоту эту. На этот оберегающий нас лес. Все дышит просеянным туманом. Вечером мы собирали в лесу бруснику, пили чай. На длинных деревянных лавках за длинным деревянным столом мы вдыхали ароматы липы, мяты. Лопались во рту спелые ягоды. И не хотелось думать, что все это может закончиться тогда, когда только началось. Казалось, что такое уже никогда не должно закончиться, потому что только так ощущается что-то настоящее, что дано каждому. А разве настоящее возможно потерять? Разве мы можем его терять? А мы теряем...

Ночью мы с Сашей остались в храме. Долго молились. И слезы сами плакали. Мы читали покаянные каноны. И каждое слово покаяния теперь было новым. Мы останавливались, вслушивались и не могли поверить, что все это мы, а ведь это мы! И так не хотелось быть такими. Но мы были. Оттого и плакали. Мы остались ночевать в храме. На пурпурной дорожке, которая вела к покровительнице этого храма, святой блаженной Валентине и Богородице.

Горели свечи, доживали прожитый нами век. А мы спали на полу... совсем новые...

Деревня

ВСЕ БЫЛО В ЭТОЙ деревне по-деревенски. Начиная от ее названия: Тимковичи. Мы поехали туда, чтобы отметить день рождения Сашиней мамы. Снова без отца. Он уже двадцать лет не поздравляет ее. А ей хотелось праздника. Это было видно по всему. По тщательной подготовке шашлыков, которыми ей так хотелось угостить соседей. По настроению. Такому празднично-возвышенному. Такое часто случается с детьми. Мы с Сашей, чувствуя ее волнение, помогали, как могли.

— Ну зачем устраивать эту показуху? — злился Саша.

— Прекрати. Подумай о ней. У нее никакой радости в жизни нет! Это ведь так мало. Ну что ты злишься? Ты же все понимаешь... Да и ей самой тошно. Как будто от безысходности. Как будто ей сорваться надо. Без пошлой компании здесь не обойтись.

Все так и было. Удивив гостей шашлыками, богатой закуской, даже нами... Мы весь вечер изображали приезжих музыкантов, покоряя сельских жителей городской экзотикой современной музыки. Только выть хотелось от этого праздника. Мама Татьяны Сергеевны, уже совсем старая, суеверная женщина, отозвала ее в сторону. Я прислушалась...

— Ты ж хоть фонарь на улице погаси. Поздно. Не хорошо это. Людей созвала... Таня!.. — с упреком сказала она.

— Нет, мама, сил! — почти крикнула Сашина мать. — Всю душу вывернули... Это ж я из-за вас с папой на себя этот груз взвалила!

— Таня!

Саша увел бабушку в дом, а Татьяна Сергеевна опять окунулась с головой в праздник, которому была не рада. Эти липкие сельские мужики, готовые тут же, на глазах своих жен, полапать городских девок, пахнущих чем-то инородно-городским, ухоженных, накрашенных.

Мы с Сашей долго не могли уснуть. Саша молчал, но я чувствовала его стыд. Ему было стыдно, что я видела все это.

— Это не так, как в твоей семье, — сказал он мне.

— Не упрекай ее. Она — женщина. Она — устала. Я, правда, ничего не думаю. Всякое бывает. Все от пустоты и одиночества. Не надо стыдиться. А почему твоя мама сказала, что это из-за них она взвалила на себя такой груз?

— Дед сказал, что в их семье разводных не было и не будет... если она уйдет — не дочь больше. Вот она и не ушла. Терпела...

Утро было напряженным. Завтракали только мы с Сашей и Жанной. Молча вышли из дома и так же молча ехали до Слуцка на электричке. Там, на вокзале, нас встретил отец Саши.

В машине мы тоже ехали молча. Я в боковое стекло видела особую бледность Татьяны Сергеевны. Ее несвежесть и усталость. Мне она показалась необычайно постаревшей. Как будто окончательно вчера молодость исчерпала себя. Сил больше не было. Ей было стыдно передо мной. И от этого мне было еще неудобнее. Потому что я не винила ее. Мне, наоборот, хотелось всем своим видом сказать ей, что я ей по-женски сочувствую, жалею ее, люблю.

Отец Саши сразу уехал на работу, не заходя в дом. Сашина мать, стремительно открыв дверной замок, побежала в туалет. Она пыталась заглушить этот ужасный звук, вызывающий физическое раздражение желудка, дергая за веревку сливного бачка. Но всем нам было как-то стыдно за наше присутствие. Мы целый день

жались к стенкам, ходили по дому бесшумно, не тревожа этот стыд, которому надо было рассеяться до завтра.

В голове — храм: «Аллилуия, алли-лу-у-у-иа, а-лли-лу-у-у-у-иа!» Ничего иного не хочется слушать. Такое ощущение, что проснулась какая-то архежизнь внутри меня, интуиция моей прошлой, настоящей жизни.

Батюшка приехал сразу после обеда. Увидев в окно, я вытерла руки тряпкой и вышла на крыльцо. Мы с Сашей подошли просить благословения. Внутри было столько вопросов, но я не знала, как спросить. Можно ли? И зачем спрашивать — не знала. Может, лучше вообще душисть, душисть эти вопросы в себе. Я вспомнила, что есть такой грех совопросничества — когда человек интересуется тем, что выше его ума и чего Бог от него не требует. Эта мысль казалась мне утешительной, но недолго. Она могла успокоить меня на время, но раздражение вопросами я чувствовала горлом. Батюшка спрашивал Сашку о том, как нам здесь. Давал наставления. Во всем чувствовалась его благорасположенность к нам. И мне становилось легче от его теплоты. От его теплого взгляда, полного соучастия. Я все-таки подошла.

— Батюшка, я не понимаю, зачем молиться! Иногда мне ни о чем не хочется просить. И не хочется просить о прощении. Ничего не хочется. Иногда я просто произношу слова, не думая о них... чувствовать у меня нет сил, не хочется, не знаю... как? Я расплакалась...

— Зато бесы понимают и трепещут. Успокойся и по силе продолжай молитву.

(В уголках глаз его притаилась добрая улыбка. И эта улыбка была дороже мне всякого ответа, потому что в ней была сопричастность. Чувство того, что такое бывало и в его жизни, и у других, и у тех, которых мы не знаем. Я почувствовала себя сильней.)

— Любовь испытывают любовью. Терпение есть непрерывающееся благодушие. Носи это в сердце и работай... Борьба с грехами — самая тяжелая работа.

— Но иногда я чувствую такое бессилие! Нет во мне сопротивления злу. И возможно ли это? Победить грехи...

— «Возьми корень послушания, ветвь терпения, цвет чистоты и плод добрых дел, сотри все сие в сосуде смирения, просей сквозь сито здоровымыслия, всыпь в котел упования, налеп воздыханиями и прибавь несколько слезной воды; потом разведи огонь Божественной любви, покрой котел милостыней и обложи его дровами трудолюбия. Когда приготовленный состав со-

вершенно разварится, тогда охлади его братолюбием и прими лжицею покаяния...»

Отец Геннадий заботливо положил руку на плечо...

Секундами я чувствую, каким был человек до греха. Потом тучный грех проникает в меня — и я теряю это ощущение. Давай открестимся от этой тучи! Не хочу! Защити меня, Господи, спаси и помилуй мя. «Аще хочу или не хочу, помилуй мя, грешнаго!»

Я шла по дороге к купальне и думала о том, что сказал батюшка. Мне казалось, что внутри меня нет такого сосуда, в котором бы я смогла не расплескать слова истины в городской московской сутолоке...

У святого источника сидела дочка батюшки, Даша, и в своих беличьих ручках грызла жадно шоколадку. Когда она увидела меня, ее страх был подобен испугу прислушивающегося зверька, который еще не видит источник опасности. Она подпрыгнула, наконец, разглядев меня, скомкала фантик за спиной. Недолго думая, Даша произнесла: «Я согрешила...» Ничего больше не сказав мне, она медленно, склонив голову, пошла в домик. С упрямством, а не смирением, она покаялась матушке, став в угол.

Я жадно наблюдала за дочками батюшки, пытаюсь найти в них ответы. Маша, такая серьезная, совсем не похожая на ребенка. Как будто она уже давно начала работать... Совсем худенькая, с длинными белыми волосами, туго сплетенными в косу, с покосившимся белым платком — слушает храм-хор... Что там, в ее маленькой головке? Выметено, наверное, там... Чисто... все вымыто и блестит. И в глазах — чистота необыкновенная!

Даша, живая, энергичная, похожая на шустрого бельчонка. Глаза глядят всюду. И еще хотят, да не поспевают. Карие, горят и ищут чего-то. Интересного. Темные сбившиеся волосы торчат из-под косынки. Все смотрит по сторонам, прихожан рассматривает, в платье новом — нравится себе... Да вот только ее не видно. Красивую, важную. Берет ключик, выковыривает воск, а потом играет им с лампадным огоньком.

Маша, строгая, подошла и звонко ударила по ладошкам. Даша перекрестилась и стала у канунника. Стоит и косо на Машу глядит. А потом опять рассеивается и бегаёт взглядом по расписанным стенам.

На улице Даша — ветер. Носится... яблоки падают. «Здесь нельзя бегать», — сказала я ей. «Мне — можно!» — «Это почему тебе можно?» — «Потому», — вполне чеканно и опреде-

ленно сказала она. Я недоверчиво переспросила: «Почему?» И хотя в глазах я давно прочитала этот такой естественный детский ответ: потому что мой папа директор, или начальник, или батюшка, но она так и не решилась сказать мне это. И меня это поразило.

Иногда мы тяготимся неизбежностью любви близких. Заботой, попечительством, ласками. И лишь немногие познали, как страшна неизбежность ненависти близкого человека. Бывает ли такое в природе? Какой-то сбой гармонии. Но в созерцании этой ненависти рождается чувство огромной признательности за эту недооцененную неизбежность любви. За то, что родители любят нас, хотим мы этого или нет, заботятся о нас, когда мы не просим их о заботе, молятся о нас, когда мы не слышим этих молитв, — они рядом. Я чувствовала огромную силу этой святой неизбежности и благодарила Господа за нее. А он плакал у меня на плече и кричал: «Отец ненавидит меня!..» Разве может в сердце отца жить эта фатальная ненависть? За что?

Никогда не могла стоять рядом с отцом на кладбище, где похоронен его отец. Видеть мужчину, который там, внутри, рыдает, — невыносимо. Рыдает как ты, девочка, женщина, может быть, бабушка, — все равно, — теряешь... Он смотрит на его черно-белое фото, разговаривает с ним, и этот их длинный, такой детский, искренний разговор доносит до тебя ветер. Ты тоже когда-нибудь будешь стоять на могиле своего отца и разговаривать с ним все так же, как ребенок. Ничего не изменится с тех пор, как самые радостные моменты сплетали вас в одно целое: игра в футбол, тяжелые затрецины за обиды, нанесенные матери, улыбки и легкое ощущение прощения в ямочках этого сурового, но дорогого лица. Папочка, я поговорю с тобой сегодня, можно, чтобы не потерять эти драгоценные минуты. Чтобы они никогда не ушли в прошлое или будущее. Папочка! «Ну, говори...» А что говорить, а говорить как всегда — ничего не нужно. Кроме: «Я люблю тебя, папа. Так люблю».

Листья в начале осени. Зеленые, чистые сердца — к ним ползет ржавчина.

Давай обманем время и будем любить друг друга вечно!

Это было страшно несправедливо лезть в мою голову. Но мыслей было так много. Они обрушивались на меня во время молитвы. И я думала их именно тогда, когда должна была за-

быть. Сейчас я вспомнила, как ко мне в общежитие приехала Юля, мама маленького Ванечки, с которым я сидела в няньках два года. Со мной он пошел. Он носился по коридорам и не мог понять, что моя комната — это моя квартира. Ему казалось, что весь коридор со всеми комнатами — это и есть мой дом. И он толкал своей маленькой ножкой полуоткрытые двери и входил туда. Туда, где вековой запах нестиранных носков, водки, которой проспиртованы даже стены, запах невымытых тел... Он так разрыдался, когда пьяный дядька лукаво поманил его пальчиком, протягивая в руке стакан. Но потом он все-таки понял, где мой дом, потому что он не такой, как там... И бабочки у меня на стенах — как живые...

Стыдно вспоминать, как много стыдного. Помню, как отметила успешную сдачу сессии. Купила бутылку водки и осталась одна в комнате, когда там, в коридоре, было страшно шумно. Как всегда бывает шумно в общежитии. Один придурок, когда я пошла мыть руки (странно, по привычке я отправилась мыть руки, потому что обычно у меня вместо водки — яблоки), и этот придурок, там, возле раковин, положил в горшок с цветком две дольки лимона, которые он выловил из своего чая. Я вернулась в комнату и налила себе в кружку с декоративными китайскими узорами водки. Я выпила залпом, как учили. На лице моем появилась идиотская улыбка. Моя комната показалась мне не комнатой, а всем миром, в котором я была по-настоящему свободной и который по-настоящему был ласков со мной, ласков до уничтожения. Я закусила хлебом, потом мой нос сделал что-то странное: он втягивал катышки на рукаве моего шерстяного свитера, он хотел занюхать это непривычное жжение. И ему удалось это. Этот странный книжный жест, может подсмотренный, а может... бог его знает. Но мне было так хорошо. Я не помню, как доплелась до кровати. Только и сейчас меня не покидает чувство, что у меня было страшно тупое, счастливое, свинское выражение лица. Я не могла ошибиться: это было именно оно. Потому что я хорошо знаю эти тупые лица, обезбоженные желчные глаза, полные водки. Еще мне казалось, что я страшно храпела ночью, потому что, когда я просыпалась, я чувствовала свой рот открытым. А я никогда не спала с открытым ртом раньше. И это был ужасно противный, свинячий храп, — его я тоже хорошо знаю. Потому что в коридоре их много...

И еще я вспомнила преподавателя, который говорил, что Катерина в «Грозе» именно в церк-

ви Бориса увидела, потому что мечтала много... Всегда в церкви мечтала, дура. Смотрю на Сашку... Но ведь он со мной уже. И не в церкви я его намечтала, а там, на улице... Смотрю на Сашку... Может, мы вот сейчас вместе мечтаем... Приснись — а сестра все читает... Красиво и не понятно. Язык Бога — язык Бога... Не русский и никакой другой. Заговоришь — поймешь. Только заговорить бы! Было — однажды. Когда болел отец. Я почему-то сама очень хотела помолиться. Стала в углу, глядя на икону «Ангел златые власы», — и молилась. Плакала, что-то бормотала... Язык Бога — язык любви. А в тот момент я папу очень любила. И может, поэтому все поняла. Но потом-то что? Как будто все забыл. Любить не перестал, а забыл, что любил вообще. Живой, здоровый, радостный — и все забыл. Как с ним поговорить, когда счастлив и молиться не хочется.

Признание

ТАК БОЛЬШЕ нельзя! Я купила билет до Слуцка и поехала к Сашиной маме. Вечером мы сидели с ней в Сашиной комнате и разговаривали при свете настольной лампы.

— Он не может так больше! Я прошу вас, скажите, почему он не любит его, почему так мучит? Я прошу вас, скажите правду!

— Не мучьте меня! — крикнула она и разрыдалась. — Саша — не его сын. Не его! Да! Не смотри на меня так, Александра... Не говори ему...

— Не скажу...

Как больно, Господи, как больно. Терять ненавидящего отца — больно. А терять чужого человека, любя его, как своего, — как больно, Господи, как больно! Не знать того, другого, настоящего. Может, так и не обнять его никогда.

— Кто он?

— Не хочу я, оставь...

Я ехала домой на попутке. Хотелось спрятаться в чьей-то чужой машине. Чтобы не думать. Я буду знать, а он — никогда... И любить будет... Но, может, эта любовь ненавидящих нас и спасет нас. Может, если мы научимся любить чужих как своих, презирающих нас, — мы спасемся. Может, надо потерять родных, чтобы любить прохожих. Через них возвращать любовь близких. Кровь говорит... Я никогда не думала так остро и не осознавала того, что кровь говорит. Почему в человеке так обострено это чувство своего-чужого? Сашка так часто говорил, что сомневается, отец ли он ему. А может, каж-

дый из нас не сын и не дочь, пока мы не потеряем их? Пока мы не найдем, не увидим в них чужих, чтобы обрести своих и никогда не терять больше.

Накануне Пасхи

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ мы едем святить булки. Люди бережно достают из сумок булки с плетеными косами, уложенными на их шапках; булки в виде огромных желто-коричневых боровиков с гладкой яичной пленкой, так напоминающей влажный след, который оставляет после себя улитка. Больше всего в Пасху я люблю вот такие мелочи. Люблю, когда женщины перешептываются, поглядывая на соседские булки. Недовольные своими, они тут же начинают выяснять рецепт ваших, огромных, полных, отливающих золотом. Люблю, когда так много людей. Люблю смотреть на яйца, которые крутят в своих крохотных ручках детишки. Больше всего я люблю красные, но они ведь не красные. Этот удивительный цвет остывшей крови. Мне не нравится украшать яйца. Выходит батюшка и, смачивая кисточку в ведерке, спрыскивает вас святой водой. Морщишься, вздрагиваешь. Какая-то странная внутренняя дрожь. Потом спазм — и слезы. Плачешь не навзрыд, а так, как будто плачет только лицо, без тела. Почему плачешь? Чувство такое, что плачешь от чистоты, а выходит — только грязь. Одна грязь. Плачешь и от этого очищения — радостно. Почему-то в этот момент начинаешь любить платок на голове и длинную юбку. В этот момент я вспоминаю: «Не буду больше поражать всего живущего, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его».

В день Пасхи мы всем двором играли с яйцами. Ставили шиферную доску на кирпич и скачивали их. Сначала я, потом Павлик в дедовской ушанке. Ему везло только в начале. Он сбивал мои яйца, довольный и жадный, тут же прятал их за пазуху. Но потом мы с братом сбивали все яйца. Единственный случай, когда соседские куры несут их только для тебя одного. Мы с братом всегда выигрывали. Несли домой полную шапку яиц. Бабушка прикрикивала на нас. «Зачем тянете в дом, своих нет, что ли!» Но мы ликовали, конечно. И дело было совсем не в яйцах.

Утром все, выползая из комнат, начинают христосоваться. Целуются, поздравляют. Какие волшебные слова: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Мы с братом бегаем в предо-

щущении Пасхи. Папина прабабушка передала нам фамильную пасочницу. Каждый год мама делает творожную, сладкую пасху в ней. Деревянные створки трапециевидной святыни были узорчатые, с красивыми крупными цветами; на двух других створках — два креста. Но, казалось, никто не спешит за стол. Все упиваются радужным настроением, солнцем, бьющим в наши деревянные окна. А мы не могли ни о чем думать, как об этой волшебной пирамиде, вкус которой мы ощущали, еще не пробуя.

Вечером мы всегда едем на всенощную. Снизу звонарь кажется короткоруким. Он возвещает звоном: «Христос Воскресе!» В толпе верующих я думала о том, что когда-то в это время люди бежали к камню с возгласами «не верю, не верю», а сейчас мы поем: «Христос Воскресе!» Это бегство от камня меня так радует.

До чего странно видеть людей врагами. Лежишь на каком-нибудь диком и заброшенном пляже — страшно встретить не-человека. Недо-человека — не так. А совсем дикого — страшно. Страшно от этого страха. Но сам факт существования такого вот не-человека — он нестерпим в сознании. По силе сотрясения факт этот огромен. Сказал Господь Моисею в «Числах»: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех, осквернившихся от мертвого». Я мечтаю о таком очищенном месте. Как мне хочется быть там! Локальная зона добра. Так хочется не бояться человека. Не бояться за то холодное, пустое, огромное молчание, через которое не пробиться свету, добру, Божьему слову.

Я часто отвлекаюсь, читая Библию. Но это отвлечение лечит. Мама кричит из кухни, чтобы я шла перемывать ягоды на консервацию, — и я, насупившись, начинаю пыхтеть как испорченный мотор — злюсь. И хорошо, что злюсь. Или заглядывает в комнату нехороший гость, а может быть, хороший, только не в эту минуту. Лаает навязчиво собака на другую, и чего лает, дура, — на прохожих так не скалится, как на эту. И еще много-много чего лезет в голову. А уж сколько мыслей чужих! Но в том-то и дело, что собственных, от которых хочется отмахнуться. И хорошо, что лезут эти мысли. На солнце усыхают язвы, затягиваются гнойные раны. И мои, смотришь, затянутся.

Единственная форма общения с любимыми и миром — откровение. Даже больше скажу — больше, чем откровение, — откровенческий невроз, психоз. В этом смысл исповеди. Вот почему любовь Господа к нам важна. Господь ждет этого откровения. Очистки от лжи.

Истинная любовь — это апогей человеческой слабости, я бы даже сказала беспомощности перед внутренней стихией любви. Гордость, скептицизм, черствость, холодность, равнодушие — это все комплексы нереализованной любви. Любви, которой за всем этим тесно, душно, самое худшее — сыро. Отсыревшая любовь — ужасна. Любовь — это же безграничная детскость по чистоте и восприятию. Я вспоминаю папину: «Что получила в школе?»

На языке щекотится «четыре», а оно, живое и детское, лишенное лжи, произносит: «три». Вот оно, открытие открытий. Природа честности — любовь. Я поняла, что восстановление разбитого на осколки Бога начинается с самого последнего его дня творения: человека... через звезды, тварей, воду, землю, до первого дня, Хаоса — и единственной Гармонии. Ничего нельзя миновать на пути к Нему.

Истинная же любовь стоит на пороге самозабвения.

В детстве на рисунке ковра нам видятся всякие чудища. Мы подолгу рассматриваем их, пока головы львов снова не станут цветами. Я — точка на глобусе. Отец обнимает меня руками, и мы начинаем вращаться вместе вокруг божественной оси.

Белки, земляника, нога, тонущая в зеленом лохматом мхе, похожем на пористую пемзу или старую истрепавшуюся мочалку... Это все — запах Прощи.

Игра с отцом

— **НО ВЕДЬ БЫЛИ ЖЕ** моменты, когда он играл с тобой, был ласковым?

— Да, были. Он играл со мной. Качал на ногах, боксировали в зале, катали мячи, но потом он так резко отталкивал меня. Так грубо. В этом не было даже привычной отцовской строгости. В этом просто не было любви. У меня накачивались слезы, и я убежал в ванну. Я рыдал там. Каждый последующий раз, начиная играть с ним, я уже был готов к тому, что он оттолкнет меня, как чужого.

Я стараюсь не шуметь. Аккуратно зажигаю лампу. Но отец... Этот неменяющийся отец. Он заходит в комнату и как тогда, в детстве: «Что случилось, дочурка?» На уже немолодом лице все та же доброта и тревога.

А тут человека лишили этого. Обокрали на столько лет Любви. Вот почему человек вообще ищет первоисточника, ищет его как солнца. Интуитивное чутье подсказывает ему, что где-то должна существовать абсолютная любовь. Для

кого-то это мать, для кого-то, а для кого-то — Бог.

Мать и отец — это вообще нечто мистическое. Как можно здравым умом понять и объяснить эту мистическую привязанность, слепую заботу о вас и безвозмездную любовь!

Пока сам так до какого-то сердечного безрассудства, пульсирующего сердечного крика не полюбишь — не поймешь.

Вода утром гладкая-гладкая. По такой воде хочется идти — не идешь. Стоишь по пояс в воде. Такая тишина. Ныряешь — как тонешь. Потому что хочется утонуть во всем этом. Ни рыбака, ни детей. Только листочек цепляешь рукой и плывешь туда, где восходит солнце.

Запах сена. Пробуждение от горлопанов-петухов, начинающих подавать сигналы утра с четырех часов. Ты с любопытством всматриваешься в воронки пыли, закручивающиеся в световых лучах, пробивающихся в щелки сарая, где спишь на сене — ты. В решето нашей крыши льется утреннее солнце. В сарае хорошо спать при дожде. Тогда тепло высохшей травы ощутишь и радостней, чем тепло домашней печки. Или кровати. Здесь ты почти с дождем, почти танцуешь с ним, щекоча пятки яблоневым листочкам. Суета многое оправдывает, но ничего не прощает.

Бабушка посыпала солью сено, а я скакала до крыши, сбивая своей макушкой все неровные места.

Какой чудесный дом в Проще. Узкие деревянные лавки, растянутые по длине дома, длинный деревянный стол. Белые льняные салфетки, на которых стоят высокие худые свечи. Маленькие окошечки. Еще не беленная шоколадная печь. Железные койки, на которых пирамидой тянутся пуховые подушки; словно в лунку проваливается голова. Старый деревянный сервант стоит в углу. В фарфоровой сахарнице сахару — на дне. В пакете лежат отсыревшие сушки... Маленькая тумбочка. В ней Псалтирь, акафист Божьей Матери, Житие Серафима Саровского, церковный календарь.

Особенно мне нравится скрип обитой войлоком старой двери с длинным железным крючком. Я люблю заходить в дом вечером. Когда темно. Как будто закрываешь нерушимую стену, скрипучую, старую и все-таки нерушимую. Вечером в доме, как в детстве, в котловане безопасности. Зажигаешь свечи, разговаривающие со своими отражениями. Что-то потрескивает — это что-то сгорает... Гори-гори... Трещи больше!

Не спеша разливаешь чай, сыплешь в него горсть брусники... Длинной ложкой выковыриваешь липовый мед. Тело не чувствуешь. Дрова еще долго откликаются в руках и спине...

Но ложиться приятно. Берешь в руки Иоанна Кронштадтского и уже вдали от всего — лежишь. Куда-то лежишь, как будто проваливаешься. И спать не хочется. В окне самолета боишься чего-то не разглядеть. И я смотрю. Плачу — и продолжаю смотреть. Не верю: как мы все похожи. Такие одинаковые — даже скучно. Но сейчас мы другие. И может быть, такими уже не будем никогда. Такими чужими себе — такими легкими.

Утром Сашка косил вокруг храма. Я косила траву жадными до травы ступнями. Жесткую зеленую челку рвала пальцами ног. Запах! И роса — не роса. Слизываешь — сладко. Пить хочется — мало! Сашка, босой, косит и поет. И коса, как шмель, носится у вырытых кротами кочек. Нет, не верю, что это проходит. Что другое — естественно. А это — нет. Бывает ли... вечный взлет души?

Послезавтра — Успение Богородицы. Работы много. Храм вымыть, двор убрать, цветы поставить, приготовить угощение. Протираем иконы. За стеклом — фотография Матронушки. На ней она — как моя бабушка. Заносит над головой белый платок. В этом взмахе какая-то необычность сопричастия. Четырехугольник на иконе — это земля, а поверить не можешь, что она, потому что земля делается землей только ногами святых. Как много подаренных икон в храме; резные, иногда какие-то античные, с виноградной лозой, ягненком — и все-таки святые. Что-то предчувствующие. Много икон из бисера. Руки человеческие! Сколько вы можете... сколько можете, а бежите... Я плету венки из цветов, в вазы ставлю белые пионы. Сколько паломников будет — сколько!

Вечером приехала матушка с сестрами. Надо готовить. Варим брусничный кисель. Постные пироги, салаты. Сколько паломников будет — кисель варить надо, много киселя... А в колодце вода мутная. И мало ее — больных сколько, паломники едут и едут, топчут купальню. Чмокают резиновые галоши, тащат ведра, льют, льют, льют, льют. И пьют много — кровь с илом.

Праздничная служба — всегда празднична. Батюшка говорит — как елеем мажет. И вроде не смотрит на тебя — а как тебе говорит. Плачешь. Смотрю — другие тоже. Праздничные службы все так проходят здесь. Сашка говорит — он мой платок глазами искал, чтобы Евангелие на голову положить. Знает... Что знает? Что надо *мне* положить? Или что *помо-*

жет? Как мне хочется это знать... Батюшка заботится о своей пастве. Даже когда некогда — боится упустить человека, потому что паломник [просто так] редко ездит. Ездит — когда надо. И его в этой нужде нужно не пропустить. Батюшка все это понимает. Оттого не спешит. Хвост исповеди в притворе, а он не спешит. Спаси, Господи! Не спеши, батюшка... Сколько на тебя уповаешь!

Это был нам подарок от бабушки с матушкой. Они так рады были нашему венчанию. Бабушка благословил нашу семью, а потом и говорит, улыбаясь: «Вы тут оставайтесь — никакого вам путешествия не надо. Здесь — все. Поработаете, попуститесь». Сам с тоской оглядывается, вздыхает. «Сам я тут — как вы будете — редко». Столько тоски в глазах. Нет им уединения. И праздник уединенной молитвы — редок. А нас — благословил. Так тепло благословил, как будто в его жизни было такое, как у нас — будет. Каждый с чем-то по святым местам ездит. И он, видимо, тоже когда-то...

Застежка

САШКА ВЫШЕЛ из ванны. Волосы были зачесаны назад.

— Ты так похож на своего отца с такой прической.

Сашка тут же взерошил волосы и поцеловал меня в лоб, ничего не говоря.

Я тоже сделала вид, что ничего не говорила.

— Сашка, а у меня застежка сломалась в моем любимом рюкзаке. Понесу папе покажу.

— Нет! Я — сам.

— Да ладно, папа быстро посмотрит и делает.

— Нет! Я — сам. Меня всегда удивляло в твоём отце то, что с чем бы вы с матерью ни подошли — он никогда не сказал, что не справится или ему понадобится помощь. Я хочу, чтобы ты тоже всегда была уверена во мне. Как я никогда не был уверен в своём отце. И никто из нас.

— Сашка...

— Я — сам.

Из-за угла комнаты я наблюдала, как Саша ремонтировал мой рюкзак. Он очень нервничал. Дергал застежку, но ничего не получалось. Он ковырял в ней отверткой. Кусал губы. На лбу я видела проступившие капельки пота. Мама скоро позвала нас обедать.

— Нет, пока не буду, — крикнул Саша.

Мы обедали с мамой одни. Уже дожевывая последние кусочки яблок, я увидела в дверном проеме Сашку. Он держал рюкзак в руках. А на

лице его было столько неподдельной детской утренней радости и счастья.

Сашка пафосно и громко заявил: «Отныне и вовеки все и всегда в этом доме буду делать я».

Мы с мамой по-женски улыбнулись друг другу. Какое неумное желание быть непохожим на своего отца...

Поразительное сходство

Я СИДЕЛА НА ТЕРРАСЕ и разглядывала огромные, набухшие ветки винограда. Казалось, ягоды сейчас лопнут от своей наполненной синева. Зрение обманывало вкус. Рука тянулась к веткам. Но воспоминание о вкусе говорило, что есть мне их совсем не хочется. Кисло! Отец Саши возился у машины. И я переключилась на него. Я стала его рассматривать, подмечая поразительное сходство с Сашкой. Волосы (если бы у Сашки были зачесаны так, как у его отца) — не отличил бы. Пальцы ног были настолько похожи, что невольно бросился бы целовать их, как те, которые целуешь на его ногах, как самые дорогие. Икры ног были точно такой же формы, округлые, спортивные. Иногда так невольно начнешь улыбаться, когда увидишь маму с дочерью. Как правило, дочь еще не подавалась в бедра, немного уже в плечах. Но какое-то природное набухание и природное стремление подражания сквозит в движениях дочери, в ее походке, в движениях бедер, так похожих на движения идущей рядом матери. Невольно угадываешь в ней мать. Глядя на Сашиного отца, я угадывала это же сходство, так неминуемо грозящее ему. Повторение, подражание...

Новый год

НОВЫЙ ГОД ПРОХОДИЛ у нас всегда весело. Родители готовили праздничную программу. Они и нас с Сашкой приучили к этому. Интуитивно каждый после октября чувствовал в воздухе приближение праздника. В стихотворной форме мы сочиняли различные сценки. Часто писали пародии на членов нашей большой семьи. Особенно приятной эта часть была детям.

Когда мы были маленькими, мама и папа, не нарушая традиции, подкладывали подарки под елку только первого утром. Ночь была крайне беспокойной для нас с братом. Каждый не хотел просыпаться утром вторым. Оттого мы почти не спали. Под утро же каждый просыпался в жутком испуге, что он уже все проспал. Это еще раз

подтверждало то, что самым важным был не подарок, а ощущение чего-то волшебного в том, как ты рано-рано утром крадешься к мистической елке, под которую добрый и такой же мистический Дед Мороз положил подарок. И само ощущение, что к этому мистическому таинству может прикоснуться первым кто-то другой, но не ты, было ужасным. Что кто-то переживет эти волшебные ощущения первым. Как будто происходило похищение праздника вместе с этим правом сливаться с чем-то потусторонним. Чаще всего, напуганные нашими страхами, мы тем более понимали и жалели друг друга, будили, чтобы на новогоднем торжестве делать первые шаги вместе.

В этот Новый год со своей программой мы поехали к Сашиним родителям. С его мамой накрыли праздничный стол. С Сашкой мы спрятали подарки глубоко под елку. Мы переглядывались с ним иногда, сталкиваясь в кухне, повторяли слова песен и наших ролей. После ужина Сашка вынес гитару. Я была ведьмой. На голове моей была ярко-фиолетовая, с огромными полями шляпа, длинное черное платье. На веках густым слоем лежали темно-коричневые тени. Два зуба были закрашены краской. Ногти были черного цвета. Бр-р... Зловещее впечатление. Сашка же, напротив, был добрым волшебником. На голове — веселый густой парик с рыжими кучерявыми волосами. Щеки пылали жаром моих ярких сочных румян. На нем была желтая рубашка в огромный красный горошек, зеленые шаровары. Мы начали концерт...

В воздухе с первых аккордов повисло напряжение. Витало ощущение сырости. Дом не был согрет праздником. На лице Сашиного отца повисло мрачное недоумение. Я удивлялась тому, насколько же человек может отвыкнуть радоваться. Насколько человек забыл о своих минутах детской радости. Ведь должно же было жить в нем воспоминание о светлых моментах своего детства? Но лицо говорило обратное. С каждой новой репликой запланированной программы мы с Сашкой теряли ощущение радости детства. Какой-то жуткий скепсис начинал душить нас. Настолько сильной была энергия этого человека. Мы начинали сомневаться в том, что все это — праздник и что радость и счастье, действительно, можно дарить. Нам хотелось быстрее закончить выступление. Было ощущение злого утренника. Как будто прошло два столетия: Дед Мороз был тем же; он приехал, чтобы поздравить детей с праздником, но никто не играл с ним. Как будто перед ним были страшные взрослые дети. Скептически глядящие на него, не верящие ни в него, ни в праздник, ни в сказку. И все только зло шу-

тили над ним, смеялись в спину. Первый раз Дед Мороз плакал. Дети предали его. Не раз во время программы мы с Сашкой успели пожалеть, что спрятали подарки. Самое страшное было еще впереди. Только Сашина мама и Жанна пытались сгладить ощущение натянутости. Они активно принялись искать подарки. А Дед Мороз продолжал плакать. Отец подошел нехотя к елке. Всем было понятно, что ни за каким подарком он не станет лезть под елку. Пока вечер был окончательно не испорчен, Саша достал подарок и вручил отцу. Он молча взял его, сославшись на усталость и на то, что завтра ему надо появиться на работе, ушел к себе. На лице каждого было то, что на своем собственном. Говорить ничего не хотелось, и мы просто машинально, молча стали убирать посуду.

Когда мы легли спать, Сашка сказал:

— Прости меня. Никогда у нас не будет так, как в твоей семье. Прости меня. Я его...

— Не надо, что ты...

Я обхватила двумя ручками Сашкину голову — он зарыдал. По-детски. И так по-мужски...

Из детства

— САША, А ТВОЙ отец рассказывал тебе что-нибудь о своем детстве?

— Я и сам часто себя спрашиваю об этом. Я почти ничего о нем не знаю. Помню, рассказывал, как отец выпорол его до полусмерти и он ночевал в кукурузе. А потом подошел утром к дому и не мог войти... и штаны были мокрые...

У них мать рано умерла. Отец не любил с ними разговаривать. Они только работали, а их только били. Может, поэтому он такой. Но мама говорит, что знала его другим... Мне хотелось в это верить. У нас в альбоме есть фотография... она всплывала всякий раз, когда он наказывал меня или бил маму. На ней он поднимает меня к потолку, совсем еще маленького, чубастого, в клетчатых шортах, и улыбается; и в этой улыбке слышится такая радость со-творения. Я там очень похож на его сына, а он — на отца. Мне кажется, зря я ношу ее, ведь это не он. Не он это... Чужой дядька...

Вечное в моем отце — его голос, срывающийся на внутренний плач. Я так и чувствую этот его затор в задней части стенки трахеи. Там он уже давно рыдает, а здесь говорит о том, что в старости даст, наконец, волю рукам и будет резать по дереву, создавая шедевры.

Какой озноб и холод, когда отец говорит о своем отце. Всегда в такие минуты думаешь, что

ты тоже когда-нибудь будешь говорить о своем отце, тогда, когда его уже не будет рядом. И будешь чувствовать то, что чувствует сейчас он. Рассказывает, как пришел забирать его в морг. И как там было холодно, и как ком подступил к горлу. И как хотелось рыдать и думать, вспоминать. Но не мог. Мать, сестра... И надо было, надо было проводить его в этот далекий путь.

В этот момент я ощущала радость отсутствия стыда за свои слезы. Мне хотелось рыдать от счастья, что пока он со мной. Рядом. Я могу [пока еще здесь] обнять его. Крикнуть, прошептать: «Папочка, я люблю тебя!» И он ответит: «Я люблю тебя, дочка». Понимаете, он ответит. Какое счастье, что человек может все это сделать сегодня, сейчас.

В небе ни одной форточки. Из окна глядят на меня черные бусины глаз смородины и воспаленные от дождя красные глаза поречки. А нам не страшно. Мы сидим с отцом, обнявшись, на кухне, полные любви и радости от того, что она нас кормит и этим мы живем.

Эти папины глаза, с щемящей радостью глядящие на эскизы, альбомы; глаза, полные отраженного Урала. Что отделяет человека от места его Рая? — страх. Что отделяет человека от места другого Рая? — тоже страх.

Как помочь отчаявшемуся человеку? Делить с ним его отчаяние. Как происходит это чудо, когда другой человек заменяет тебе себя. Ты думаешь о нем больше, чем о себе. Лжешь ему, когда болеешь, чтобы не заболел он. Сколько же любви, сил, энергии нужно двоим, чтобы быть вместе. А если так трудно быть вместе, не легче ли быть одним. Как страшны минуты отступничества от любимого человека. Покидаешь его — и себя покидаешь. Что нужно, чтобы уйти от этого нестерпимого прощания. Не хочется прощаться с Прощей. Все равно как проститься с любовью. Разве это возможно? Без любви... Как принять его навсегда?

Дик

С КАКОЙ ЩЕМЯЩЕЙ болью я смотрела на купленную в очередной раз собаку. Тревога за то, что я все уже знаю о ее жизни. Она ничем не будет отличаться от жизни предыдущего владельца этого уже навсегда загаженного вольера с одинокой будкой у истока этого длинного коридора смерти, обнесенного мелкой безрадостной сеткой. Даже кормить ее будут точно так же. Я всегда с диким ужасом смотрела на эту се-

рую массу, из которой выглядывали рыбные кости, хлеб, яйца, остатки пищи, даже свежая зелень, счищенная корочкой хлеба с наших тарелок. Еще более этого угнетал меня вид того, как моя бабушка толкла секачом картошку в мундире, заливая все это молоком. Это тоже было для нее. В деревне, какой бы ни была собака породы, — у нее быстро вырабатывался иммунитет на такую безрадостную похлебку. Все наши собаки жили долго: по десять-пятнадцать лет. Какая долгая, безрадостная, бессобытийная жизнь.

Как я радовалась, когда собаке удавалось мордой сорвать крючок. Счастью не было конца... А утром я видела бабушку с прутом в руках, встречающую у ворот это изможденное, уставшее за ночь, заметно осунувшееся существо.

Какое, должно быть, количество деревенских сук оплодотворил наш друг. Я очень явно рисовала себе его стремительный бег, жадный, неиссякаемый, полный сил, еще не угасшей жизни. Какое это счастье: увидеть совсем другой мир, мир, который живет так близко от тебя. Озеро ночное, прохладное, окруженное заботливыми лягушками, сжимающими своими растопыренными пальцами место обитания. Увидеть эти совсем непохожие на вчерашние звезды. Не унылые и ледяные, а смеющиеся и горячо плачущие — вместе с тобой. И этот яблоневый сад! Нависающий мягко и нежно над землей. Трава, укутанная теплым, пуховым одеялом тумана! И это все мое! Только сегодня... и навсегда.

Когда наша собака умирала, а умирала она долго и мучительно, тешила меня только одна мысль — она все это видела, и у нее было в жизни это счастье соприкосновения. Собака начала задыхаться с утра. Сначала она лежала в будке, высунув морду, чтобы ловить тяжелый, жаркий, летний воздух. Потом она, ослабев, выползла, шатаясь, стала прогуливаться вдоль решетки, грустно поглядывая на дорогу, на которую ей удавалось вырваться два-три раза за всю долгую собачью жизнь. Потом к обеду она начала харкать кровью — длилось это нестерпимо долго — тело тощее, полинявшее, сотрясалось при каждом новом приступе кашля. Только спустя четыре часа собака сдохла.

А теперь на ее месте бегал по вольеру здоровый, красивый щенок кавказской овчарки. Дик. Я смотрела на него, еще счастливого и озорного, играющего с моим детским красным башмаком, — и заплакала.

А ночью на лай и прерывистые завывания собак я отпустила своего питомца. Кто знает, может быть, еще не испорченный ощущением дома нюх не приведет его назад! Чтобы только

не видеть этих человеческих, тоскующих глаз. Этого жалобного ночного скуления — не слышать!

Я открыла калитку, и этот клубок дикой взъерошенной оранжево-бурой шерсти понесся навстречу миру, который должен его напоить, напоить так, чтобы хватило на всю жизнь в заточении. Напоить на сны об этих лугах, травах, звуках — всей этой ночной музыкой.

Только я слышала этот упоительный вой молодого, сильного, счастливого пса. Все голоса других псов на этом подлунном полотне показались мне бледными, тусклыми отблесками настоящего звука свободы. В вое Дика слышалось непреодолимое желание слиться с этим покрывшим его миром звуков, в котором и его вой — часть. Как будто это было жадное желание не только напиться, но и напоить. Напоить всем тем, что жило в нем, а жил в нем лишь один неумный восторг и этот затяжной, беспрерывно льющийся голос свободы.

Свадебное кольцо

САШКА СДЕЛАЛ мне предложение. У моих родителей просил благословения. Мама принесла фамильную икону Николая Чудотворца и, подняв ее над нашими головами, сказала: «Мы с отцом всю жизнь берегли друг друга, заботились... (мама расплакалась) и вы берегите. Семья — это труд...»

Сашка ждал зарплаты купить нам кольца. Мы приехали к его родным сообщить о своем решении. Сашин папа засуетился. Единственное, о чем он беспокоился, — это чтобы все было прилично. Спросил про кольца. Он как-то ехидно улыбнулся, когда Сашка сказал, что сам купит мне кольцо, как только получит зарплату. Это было очень важно для него. Вообще, для него всегда важно ничего не просить у отца. Потому что это — одно унижение: он всегда с каким-то презрением и удовольствием от этого презрения давал Сашке деньги на учебу. Во всем этом был такой нарочитый жест милостыни. Не подарка, не радости от того, что он может участвовать в жизни сына, помогать ему, а именно презрение и унижение. Он любил подчеркивать свое материальное превосходство.

Мне было это непонятно. В нашей семье всегда было здоровое отношение к деньгам. Их никогда не было много, но то небольшое, что у нас было, всегда было у каждого. Мы с братом всегда знали: все, что мы имеем, — мы имеем по огромной любви наших родителей к нам. И вместе с тем отец всегда приучал нас к работе,

как единственному средству понять, что работа — это не только работа, — это еще и молчаливые знаки нашей любви к ближним.

Утром Сашин отец предложил прокатиться по городу. Но его предложения никогда не были прямолинейны — в них всегда таился какой-то подвох, и он чувствовался в его неискренней улыбке.

Когда мы проехали мимо церкви — я поняла, что Сашин отец везет его на унижение. Нет, нет этой любви в человеке! Если бы была — то в нем жило бы это чувство понимания, которое живет в каждом когда-нибудь любившем человеке.

Я перекрестилась в надежде, что все-таки кольца там не будет... И слава богу, его не было. Он все никак не мог успокоиться — собрался вести утром в Минск, но мы с Сашей решили, что это важно для нас двоих...

— Понимаете, ведь это просто... — нерешительно заговорила я с ним вечером. Язык не слушался. Не слушался еще и потому, что он отгородился от меня своей упрямой спиной. Он не повернулся — продолжал дерзко смотреть телевизор. Я никогда не говорила такой бред. Мне казалось, что это и так должно быть ясно человеку. Но с ним, как со взрослым... И глупым, противным ребенком, таким, которого всегда хочется ударить просто так. За глупость.

— Понимаете, — сделала я вторую попытку, — ведь это нормально, что именно он хочет сделать мне этот подарок. Ведь мы все когда-нибудь с чего-то начинали. И пусть он отдаст всю свою зарплату — это будет для него и для меня тоже, понимаете, — будет такой радостью, что этот подарок от него. Ведь это на всю жизнь. И ему, как мужчине, важно...

— Да я ведь как лучше. Все понимаю...

«Ничего ты не понимаешь! — хотелось мне крикнуть ему в глаза. — Ничего...»

Во всем я видела не понимание, а упрямство. Злое, гадкое упрямство. Когда хочется думать, что от любви, а любви нет... нет любви... Нет. Мне стало его так жалко. Даже вот это неумение и упрямство — это от пустоты, от того, что где-то там, далеко, а может, никогда, ни разу не было этого опыта любви. И только животный инстинкт подсказывает, что есть что-то неживотное в чувстве, которое мы так красиво называем. Что это? Откуда? Для чего? И где, где?..

Я ушла. Мне стало не по себе. Не могу там — где совсем нет. Вот и в себе иногда тошно... Предаст и куда-то летит... летит к кому-то другому, другому и еще другому. Шляется и не может вспомнить, где ее дом. «Выхожу один я на дорогу» — ведь это об этом, да ведь это об этом. Он вышел и стал звать...

— Сашка, сказать по правде, я тебя иногда не понимаю. Ну и что, если отец не любит. У других не такое бывает, понимаешь... Сколько лет прошло. И в конце концов, он же тебя одевал, кормил, ну не совсем же он...

— Заткнись...

Саша посмотрел на меня так, что я больше никогда бы не смела об этом заговорить. В его глазах я увидела что-то такое. Я увидела, что не знаю об этом ничего. Я не знаю об этой мистической связи отца-сына. Ничего не знаю. Как же у него в глазах было больно! Больно и пусто. Как ему не хватило любви. Мне показалось тогда, что я — это — ничто. И всегда буду ничто, даже если долюблю до капли. Ему было больно только от него. Только им он хотел долюбиться.

Почему-то мужчины в объятиях женщины не плачут. Почему-то в них рождается чувство, совершенно противоположное моему. Они не чувствуют пустоты. Я не стану спрашивать об этом у психологов. Особенно классиков.

Хотя, может, только они давно догадываются, что я — плачу. Мне все равно. От этого ничего не изменится. Почему так? Никогда не ощущаю сразу столько пустоты, как в моменты близости. Весь холод космоса, кажется, лежит на моих плечах. Проходит ночь — и я опять ручная. Почти счастлива. Откуда такое сгущение пустоты? Мне было хорошо от любви только после вина. И я пила вино только для того, чтобы было хорошо. Я подумала: так можно начать пить... Лучше быть несчастной, решила я, но трезвой, чем счастливой, но пьяной. Мое тело не умеет делиться. Оно принадлежит себе. Наверное, поэтому мне трудно. Мое тело привыкло быть одетым и ему холодно. Нет, нет, это все неправда, что с телом легче, чем с душой. Хотя, может быть, потому и труднее, что есть душа. Которой тело — всегда мешает. Хотя почему-то пустоту, холод, страх, страх, именно страх я чувствую не в душе, а в голове. Бесконечный менингит...

Но я не стала бы рассказывать все это, если бы однажды не было по-другому... Мы были в деревне у Саши. Такой, где скрипят полы, а в доме нет воды — только в колодце — он далеко от дома. Где печка, а в ней рассольник, и из чугунка убегает тыквенная каша, где на печке гора шерстяных носков, не имеющих пары. Где пыль на шкафах — от слепоты... и где в тумбочках старые пластинки, порыжевшие книги по овощеводству... рядом — обязательно о войне. Где черно-белое кино фотографий. Где лающие собаки. Шумные соседи. Чаще всего суеверные, как и Сашина бабушка, которая, найдя собачью кос-

точку, будет всех уверять, что это подкинули злые завистливые соседи... И ежевика за окном, похожая на черную икру. На ней — огромная саранча. И ежевика кое-где покусана. Она падает в ладонь, едва коснешься ветки. Спелая...

Вечером я дышала... Полной грудью. Как можно дышать в деревне, где ветром прибываются к крыльцу тысячи ароматов. Все вместе они рожают аромат самой жизни. Так, кажется, пахнет она. Я высасывала из мягких иголок клевера сладость. Но было мало, и рвала еще. Уходила — и было еще мало. Идя домой, где летом всегда прохладно, я лениво пропалывала грядку, как будто на бегу. Собирала в ведро мокрицу, а вечером делала из нее салат. Со сметаной. Вкусно! Я поставила в печь рисовую кашу на молоке. Радость от того, что в моих руках кочерга, душила меня. Откуда-то появились слезы. Глупость какая-то. Откуда все это? Зачем?

Вечером мы с Сашей мыли черные от земли ноги в тазу с холодной водой. Кошка с перебитой лапой лизала целую и водила хвостом по полу, как будто закидывала удочку в разные места, нигде не нащупывая рыбы. Мы зажгли лампадку, глядя на нее в окне — молились... Мы тихо легли. Тихо, потому что день был не громким, как в городе, — почти без людей. Тихо. Деревенский шум тоже почему-то рождает ощущение тишины. Мы легли тихо. И он просто обнял меня. Слезы радости тонкими струйками рисовали что-то в уголках глаз. Это точно были слезы радости. Было еще не очень темно. Как бывает не темно летом. И эти сумерки рождали в нас ощущение тепла, которого так не хватает по осени. Или там, в городе. Тепла, которого нет даже летом в нем.

Утром я проснулась в ежевике. Мне казалось так, потому что ядовитые песни саранчи наполнили всю комнату, но тишина была повсюду. Счастье, какое счастье было тогда со мной.

Мне было не страшно. Слезы радости были везде.

На службу пришла странная женщина. Вспомнить — страшно. Она подошла на елеосвящение и упала. Стала кричать, стала биться об пол. Потом выбежала на улицу, разделась и совсем обнаженная стала полотью в темноте грядки. При этом она дико смеялась. И от смеха — страшно. Отец Геннадий прикрыл дверь храма и продолжал. Бесноватая осталась снаружи одна. Потом, когда все уже вышли и стало совсем темно, я увидела, что она лежала на лавке. Часто я устаю так от суеты. Когда уже совсем искушенной и жадной до сна падаешь в пос-

тель. И уже знаешь, наверняка, что не будешь мучиться бессонницей — потому что сил ею мучиться нет. Это болезненное чувство усталости. Оно самодельное. Пустое. Спишь крепко-крепко. Завтра — день, но не продолжение чего-то, а отсутствие... Отец Геннадий все-таки помазал ее елеем.

Я впервые осознала причастие и исповедь как большие праздники. Впервые я прониклась и углубилась в радость поздравления меня с этими таинствами. Самое светлое и большое проникло в меня, наполнило легкие, долго томившиеся в пыли и грязи.

Я вспомнила о загадочном пасечнике, прежде пугающем меня. Он зазывал нас в какое-то странное место, увешанное травами, заставленное настоекками. Потом из двадцатипятилитрового бидона наливал нам в тарелку мед, и мы жадно пили его у краев тарелки. И так хотелось жадно пить его, причмокивая, слизывая с грязных пальчиков золотистые капельки пчелиной росы.

Часто так бывает, что *нечто* долго преследует нас, тщетно пытаясь привлечь внимание, но мы не видим это *нечто*, потому что оно — непреживаемый опыт о-страненной реальности, но стоит соприкоснуться, пережить *его*, и нам тут же начнет казаться, что оно начало именно сейчас и именно сегодня ходить за нами по пятнам. Так, читая книги о чьем-либо религиозном опыте, мы воспринимаем его как то, что является лишь тайным желанием их воли. Но стоит пережить эти минуты религиозного прозрения самим, и вы тут же распознаете насмешку в глазах скептицизма, которыми так долго смотрели на мир и Бога из-вашей-нутри. Чудо веры состоит в ее простоте и очевидности.

Часто идешь по дороге, и какая-то дрянная мысль летит за тобой, наступая на твою голову. И ты начинаешь отмахиваться от нее: «Кыш, кыш!» Глупо талдычишь себе что-нибудь: «Нет, нет, мысль, я о тебе и не думала думать».

Мне всегда только и было страшно не за это преследование глупых мыслей, а за то, что они станут всем... пока кричишь с неустанным постоянством свое: «Кыш-кыш!..»

Какое удивительное зрелище: стрекоза, катающаяся на желтом листочке лозы, два водомера (один на одном) катаются друг на друге. Почему в детстве всегда хочется жить в микромире? Я помню, всегда мечтала о машинке, напоминающей кузовом божью коровку. Такую маленькую-маленькую. Чтобы проезжать мимо людей и оставаться незамеченной. И вот так приятно с утра наблюдать за этим микроскопическим миром.

А вы никогда не думали об этом чуде, что человек может плавать, совершать эти странные собачьи чертыхания? Как будто всякий раз, заходя в воду, ты примеряешь на себя другой мир. И становишься его частью.

Каждый год к нам прилетают лебеди. И вот сейчас я вижу на воде белые перья — узнаю их, друзей детства.

Погруженная по пояс в воду — стоишь — дышишь. И там, под водой, в эту же самую минуту — много дышащих. Чудо! Это всеобщая жажда напиться воздухом, надышаться до опьянения. Рыбак где-то далеко. Тебе и дела нет до этого рыбака, но так хочется поделиться радостью, орешь во все горло: «Как клев?» И оттуда, всегда охотный до разговора, кричит этот великан в огромных до паха сапогах: «Да какой уж... окушков штук пять — глухо!» И ныряешь... До тебя натянутая, будто пленка, вода прорывается телом. Рвется эта слитость между камышами, кустами лозы, травы, обитателями. Все начинает неохотно вступать в разговор. Водомеры искося поглядывают на тебя; слетит с гнезда аист и проплывет над головой, а то нарежет несколько кругов, то ли приветствуя, то ли грозя чем-то. Озеро лениво рябит теперь, встревоженное рукоплесканиями. Сонные, вялые водомеры пугливо рассыпаются по тонкому льду озера.

На обратной дороге коршун пронес над головой индюшонка.

По утрам, когда я иду на озеро, где даже рыбаков нет, мне становится страшно: неужели возможно умереть в такой тишине! Я дотрагиваюсь ногой до спокойной поверхности озера и кричу: «Эге-ге-гей!..» Чтобы вспугнуть тишину. Чтобы сказать, что я не одна — со мной — мой голос. Так легче. Как будто произносишь магическое заклинание от этой магической мертвенной тишины.

В обед рыбаки, как ивы, висят над водой. Секут своими пугами-удочками сонную воду. С большими надеждами вперившись в воду, не замечая купальщицу. Стоишь голая. Белая. Новая. Чья ты? Почему не стыдишься, не прикрываешь рукой грудь, прямая, распахнутая всему...

Сегодня я стала свидетелем того, как петух помогал своей возлюбленной, присутствуя при несении яиц. Они заливались прерывистым кудахтаньем. Потом, как только курица слетела с насеста, они тут же замолчали, что означало благополучное разрешение от бремени. Петух тоже вздохнул с облегчением, принявшись за сбор зерен в траве.

На поле, в луже смолы, я нашла голубя.

Мы с Сашей отмыли его лапы бензином, подбросили в небо, но он, едва парировав, рухнул

в траву. Потом мы напоили его. Через час голубь, освоившись, сидел уже на коньке нашего дома. Голубь — особая птица. Особенно запомнились мне его красно-оранжевые глаза — маленькие солнечные диски. Я держала его в тряпке, пока мы шли в дом, и, не отрываясь, смотрела в них.

Иногда мне кажется, что я хожу не здесь и не там. И я — это не я. И этот мир — это не мир. Или мир, но только не настоящий, а предбудущий. Этот мир не похож на сотворенный — он похож на сделанный.

— Мне тоже хочется, чтобы он похлопал меня по плечу!..

Сашка больше ничего не смог сказать. Я скрестила руки на груди, сотрясающейся в тишине.

Как человек может не любить человека? Почему этот феномен никто не исследует? Почему люди не удивляются этому?

Каждый раз, открывая книгу, чувствуйте, что вас только что научили читать. И вот сейчас, в этом магическом таинстве приобщения к книге вы почувствуете все дни творения. Вы почувствуете силу творчества, его смысл. Как легко ошибиться. Взять в путеводители злую книгу. Книгу, которая еще нерожденного ведет вас в Хаос не-рождения.

В Проще мы не знали часов, дней. Это было время литургического сна, такого же вневременного, как и все в местах Прощи. Церковный календарь — это подаренная нам при жизни вечность. Все меняется в земной жизни, все меняется без него, — только в церкви не меняется год, только в церкви год равняется вечности. Жизнь с Богом — вечная молодость.

Венчание было для меня радостью. Я думала, что венчание — это закон в нашей семейной жизни. По нему мы будем жить. На него оглядываться. Но была не только радость. Было предчувствие того, что настоящая работа еще впереди. Больно от того, что был еще все-таки этот проклятый страх. А вдруг не получится! А если получится, то как скоро? На исповеди опять меня спрятали чужие свои слова. Сказать хочется много. Это важное многое обзываешь неясными словами и чувство страха, страха так никогда ничего и не сказать, хватает за горло.

Говорят, что есть такой способ приманки фазанов, как ловля их на конский волос с изюмом. Фазан проглатывает изюм, привязанный на него, а ловец начинает дергать. Он щекочет горло птицы, потягивая за волос. Несчастливая птица цепенеет от этой щекотки в горле, не в силах

сделать и шага. Я чувствую себя таким же фазаном, попавшимся на приманку собственных обезображенных слов, щекочащих горло. Сказать хочется, а не умеешь. И глаз нет. Слепота и глухота...

Иногда кажется, нет сил для того, чтобы продлить себя еще на несколько дней. Думаешь: тяжело и холодно! Хемингуэевский дождь, гиены, пустота и страшное ощущение жизни вокруг, в которую никак не удастся попасть.

Проща — дом души. Внутри разрывается все: сердце болит при мысли о расставании, а разум спешит туда, в чуждую для души страну.

Только-только я почувствовала себя собой: ноги ногами, ум умом, душу душой... только-только отмылись в Живоносном источнике от грязи. Начали слышать. Как громко оказывается полет шмеля, как убаюкивающ стелющийся туман, как напевны поднимающиеся пары влажной рубероидной крыши, как многоголосен лес с птицами.

После покаянного канона — обливание водой, к которому привыкаешь душой так, как тепло — к еде. Легкий и открытый, распахнутый звездам, повисшим над луковичками храма, идешь ты с иконой вокруг храма и поешь...

Приходишь в дом, неторопливо запаливаешь свечи, лампадку в молитвенном уголке и в осеннем свете доме греешь душу, отпаиваешь ее горячими лесными травами.

Все слышишь. Сашка говорит, что для того, чтобы услышать, надо изголодаться по звуку. Иногда он под струны кладет платок, чтобы звук гитары был глух. И тогда ему час за часом становится все труднее и труднее переносить это. Ему очень хочется звука. И потом, когда он достает этот платок, он по-настоящему слышит, потому что долго пребывал в глухоте. Так и я: все никак не достану из ушей этот грязный платок. Видимо, еще не изголодалась.

Красные капли брусники катятся по столу. Тлеют угли в этой огромной говорящей печке, и ты долго смотришь на тени, отбрасываемые ею, и на себя, желающую остаться. Ноги, тяжелые от усталости, не желают двигаться. И я — не желаю. Приятно сидеть на длинной деревянной лавке и сыпать горсти брусники в рот.

Как же многоголосен человек. В хаосе звука мелькает палочка дирижера, но ее закрывает от меня своей спиной город. Зачем?

Такая тишина. В храме, полном цветов, горят лампадки. За окном — глубокая ночь. Кто, кто доверит мне это чудо тишины, где покашливание боится самого себя?

Мы — одни. Сегодня мы еще одни, и я хочу сказать тебе так много, Господи, — наедине, где

свеча в руках смиренно доживает век. Но я еще успею сказать главное — это то, что ищущий любовь найдет ее в храме своей души. И мы всегда будем возвращаться к нему, когда голод Любви вновь погонит нас к Источнику.

Я просыпаюсь по ночам, но это просыпание лишено тревоги. Мне приятно видеть горящую лампадку у образа Спасителя и его светозарное и строгое, милующее и грозное лицо.

Я подолгу лежу и смотрю в окно, где видны только верхушки деревьев. И ночь. Такое же многообразие звуков, как и днем. С ветки срывается и летит ворон, напуганный приписываемой ему славой спутника черной силы.

Диск луны где-то тонет в парах влажного леса, озаряя деревья.

Шаг вперед — шаг назад — в сторону забывания виденного. Остановиться! Только бы успеть остановиться. Вечером ли, у городской свалки или в ботаническом саду — только поспеши остановиться и посмотреть из глубины зовущего себя. Я голодаю по Любви!

Что это, слезы? Они плачут от тоски.

Бывают такие дни в году, я не могу понять, когда именно они бывают, в какую-то определенную пору или без всякой видимой закономерности, но такие дни все-таки бывают, когда мне непременно надо исчезнуть. Исчезнуть совсем. Дни эти туманны и для меня самой. О них я всегда помню, а что помню, — сказать не могу. И ценность их именно как будто и состоит в этом вечно нависающем над ними тумане.

Я куда-то исчезаю. Уезжаю на электричке, поезде, автобусе. Это всегда незнакомое место: город, деревня или лес. И я живу там несколько дней — возвращаюсь. Возвращаюсь обычной до узнавания. И только там, в этом незнакомом лесу, со мной происходит чудо. Я живу и умираю одновременно.

Это был Киев. Я остановилась в какой-то странной одинокой гостинице. Настолько одинокой, что на этаже была я одна. Я оставила в номере маленькую сумку с вещами и отправилась по городу. Я помню боль в ногах. От ходьбы. Бестолковой, беспутной. Колокольный звон... Названий улиц — не помню. Это все так абсурдно. Говорить о воспоминаниях, которых нет. Именно так, так, зачем-то нужно. Именно там, там мне всегда — как дома. Как дома, который только один и может впустить меня на свой порог. Там мне ничего не жалко и никого. Там я одна и других мне не надо. Уже совсем уставшая за день ходьбы, я возвращаюсь в номер пустой гостиницы. Включаю маленький

фонарик над книгой и читаю. Нет, это не любимая книга, — это другая, не помню, — я нашла ее в ящике. Как хорошо мне. Я одна. В чужом городе. Читаю или смотрю в окно, вид из которого меня так никогда и не настигнет. Я не вернусь сюда. Я ничего не вспомню, но сейчас мне хорошо. И завтра, завтра, в таком же тумане я буду ехать в поезде назад. Туда, где дома окрасятся в какой-то определенный цвет, как верное свидетельство моей нормальности. По знакомым зданиям и улицам я начну ориентироваться в пространстве. Я начну узнавать людей, а люди — меня. Но все это будет уже не дом. Я живу хорошо, а может быть, и не хорошо — не важно. Только у этого всего будет имя, и я смогу это понять. А вот то, другое, которое опять заскулит, — нет.

В другой раз я была в какой-то деревне, где меня, совсем промокшую и уставшую, приютила в доме милая старушка, растапливавшая печь. Совсем почему-то не любопытная. Она дала стакан водки, поджаренного сала и уложила на печку спать. Утром она дала мне пластмассовое ведро и сказала, чтобы я собрала себе алычи. И я собрала. Потом разгуливала по деревне и ела, так по-пацански дерзко и не красиво выплевывая косточки. Что меня радовало здесь? Солнце. Воздух. Незнание. Сельский автобус, в хвосте которого пахло гарью. Моя невнимательность. Я ничего не помню. И вместе с тем мне кажется, что все самое главное проникает в меня. То, что питает меня целый год.

Если долго мне не удастся вырваться на свободу, — я начинаю болеть. Чахнуть. Ссориться с мужем, с собой, с миром.

Почему человеку так важно знать, что делает меня такой обновленной, такой счастливой? Все злятся. Думают, что у меня есть какая-то тайна, что со мной в эти дни происходит что-то страшно интересное. А перед их интересом — я бессильна. Мне нечем питать его. Я бесплодна. Вижу — не могу понять, что вижу, слышу — не знаю, что слышу. И вместе с тем я так счастлива. Мне так хорошо. Почему человек не может простить другому человеку эти несколько дней свободы, если они делают его таким счастливым. Не все ли равно, где он бывает, почему ему так хорошо. Это праздное любопытство, теснота, которая живет между людьми от жадности к пространству, — меня сушит. Мне плохо от чужого любопытства. Свободы! Воды! Много воды! Воздуха! Света! Такого ослепительного, чтобы ничего не помнить. Чтобы не знать, что это, для чего оно. Жить с этим.

На старом грузовике я поехала с деревенскими мужиками на охоту. Они пели и пили, рассказывали пошлые анекдоты, но мне снова было хорошо. Собаки, увлеченные собственным гоним, резвились в лесу. Охотники стояли на номерах в ожидании зверя — и все счастливы. Я не помню охоты. Я помню ее запах. Пропахшие костром здоровенные грязно-серые фуфайки охотников, пар изо рта этих привыкших к выпивке мужиков, грубые, поцарапанные руки, тянущиеся к салу и хлебу, которые лежали в газете на капоте. Их неразличение во мне женщины. Грубое похлопывание по плечу. Моя какая-то опьяненность. Опьяненность всем. И воздухом, и костром, и лесом, и собаками, и водкой. Мужики смеялись, и я смеялась. Они надо мной и я — надо мной. Так все равно. Мне привязали патронташ, взвалили двустволку: «Стреляй!» — крикнули мужики.

— Куда?

— Туда!..

Никто так и не показал куда, но я поняла. «Туда!» — крикнула я и стрельнула в воздух. Это была мягкая, никому не угрожающая пуля, и в самом выстреле не было никакой угрозы. «Вот это была охота», — подумала я. Это была охота. Это были опять те самые дни охоты за туманом. Если и есть на свете измена, то только такая. С туманом. Все не важно. Только туман. Едешь ли в поезде, электричке, идешь пешком. Туман застит глаза. Ничего не видно... И так легко. И дышать, и жить. Особенно легко — жить.

И все это звало меня, пока мы не приехали в Прощу. Что было с нами — мы снова не знаем! Только тоска по ней — стала болезнью. Как любовь когда-то становится хронической жаждой добра. И там это добро разлито повсюду, во всех. Я и теперь, когда слышу в городской речи «спаси, Господи» вместо «спасибо», — оборачиваюсь, как будто на эхо, долетевшее до меня из таких родных, далеких от Москвы мест. Но все-таки долетело. И смотришь в глаза незнакомца, а он вовсе не незнакомец, — он такой же, как все, — родной!

Прощание с Прощей

— САША, — ПОПРОСИЛА я его, — я хочу услышать перезвон.

— Почему?

— Потому что он сообщает печальную весть.

Он схватил пучок тонких ниточек, на которых висели колокола, и нервно, хаотично заколотил в них. Почему? Потому что это было на-

ше прощание с Прощей. На завтра? На год? Надолго? — мы не знаем. До следующего голода любви.

«В тебе есть некая очаговость. А это не самый потерянный тип женщин», — сказал он мне...

Ссора

О ССОРАХ не хочется! Пожалуй, это самое страшное — несопротивление злу. Это хуже, чем само зло. Это такая страшная смерть, мучительная и долгая, как сама жизнь. Жизнь по возвращении. И вернулся же, скотина. Как заливавшая рану собака. Пахнет дурно, а пришел...

Пришел и ругаешься, злая сука! Саша принес мне Прощинской воды...

— Не хочу!

— Знаю...

Я не спеша отпила глоток. Всклипывая и трясясь всем телом, я вспомнила Прощу. Сидя на верхнем ярусе кровати, еще не остывшая от ссоры, я чувствовала кровать — другим берегом. Как я успела доплыть до него за такой короткий срок? — не знаю. Все вдруг всплыло передо мной в необозримом ужасе. Яснее стала Проща. Увидела ее всю. С деревянной кладкой дров, с потемневшими от дождей куполами, запахом цветов, ладана, леса, воды. Запах воды, святой воды Прощи вернул меня туда. Мне вдруг показалось, что я одна среди своего безбрежного уныния и страха. Мои весла веры унесло в открытое море с первой же ссорой. Я схватила двумя руками голову Саши с удивлением глядящего на меня, схватила как единственный остров, доступный разглядеть в тумане моей пьяной, большой жизни.

— Пойдем помолимся...

— Прости, прости меня, как это люди становятся злыми? Внезапно опять проникает. Вспомни, как мы спали в храме... Тишина, ночь, свет лампад, мир икон вокруг нас...

— Тчшш... Слушай!

«Светися, светися, новый Иерусалиме! Новый Иерусалиме!..»

Я проснулась. Напротив, обхватив колени руками, сидел ты. Плакал. Ты тихо скулил. Так скулят люди, внутри которых страшное многоголосие. Но голоса эти злые, срывающиеся, страшные, скрипичное взвизгивание и невозможность излиться. И вот это все щекочет тело изнутри, а выливается в абсолютную незащитность, слезы, страх, отчаяние, уныние. Я тоже заплакала. Тихо-тихо. В этой темноте мне

страшно думалось. И я думала страшно. Может, все не получится. Может, жизнь не получится. И любовь — Боже, страшно, страшно, и любовь, вдруг она тоже не получится! Потому что такого ночного отчаяния станет больше. Внутри боль и огромный аквариум... В нем злые, хохочущие химеры. И я захлебываюсь. Потому что отчаиваюсь, не верю... Не верю, что у нас получится долюбить. Сил нет. А-аа! Где же оно, кто-нибудь, помогите!.. Еще пять минут в тебе — красота и гармония, а тут — хаос и пустота. Теряешь силы. Потому что в такие минуты вместе с ним теряешь веру в то, что справишься. И не знаешь порой, от чего затоскуешь, а затоскуешь по чему-то по-настоящему. Так, как будто и вправду чего-то лишился или что-то вчера потерял. Может, это случилось еще тогда, до нашей эры. Может, это та самая тоска по любви всех ко всем. Вот и тоскуешь. Находишь — дышишь и живешь. Вне времени и пространства. Потеряешь — мельчайшие крупички пыли на лампе забьют поры пространства. И такая тоска. И плач, и стон. И ждешь, что изменится. Когда? Страшно — что никогда...

Какой врожденный голод по абсолютной любви... Все-таки по-настоящему близкие люди — это ты, отец, мать, — даже если вы и не были никогда по-настоящему близки. Между нами и всеми другими живет извечное непостоянство в чувствах. Нет той связи, которая называется обреченностью. Иго любви — это иго вечного ощущения дома, вечного ощущения того, что пахнет постоянством и ясностью.

Есть такие люди, которые любят других людей, как цветы в цвету. Пока они источают запах интересности и новизны, — мы нюхаем их и лю-

бим, но в тишине, в их не-явном пребывании, в невидимом их зерне, в котором они пахнут резче, — мы слепнем, глохнем, перестаем ощущать. Мы оказываемся не встроенными в это всеобъемлющее зерно Любви, пахнущее в земле для тех, кто готов ждать всходов. Или любить эти самые всходы внутри самой почвы.

Эта ужасная традиция страха смерти. Если бы человек не боялся ее, возможно, он бы лучше и полнее жил.

Я хочу быть маленькой. Снова быть маленькой. Но не как снова, а вдруг. Я с ужасом смотрела на Сашу в темноте и теряла. Теряла свое постоянство. Страх! Отчаяние! Уныние! — снова они! Как страшно, Господи, снова оно... Да откуда же?.. «Я хочу к папе!» — крикнула я. Стала рыдать, все время повторяя: «Я хочу к папе, к папе, я хочу к папе!» Влиться бы в его горячую ладонь, в которой спрятано все мое чувство дома.

Когда я успела стать женщиной? Мне кажется, до конца это невозможно понять. Поверить — невозможно. Иногда теряешься, смотришь на мужа, как на чужого человека, — и не можешь понять: как он стал чем-то, что «прилепилось» уже навсегда? Иногда — радуется. Иногда — совсем не хочется. И когда не хочется — кричишь: «Я хочу к папе!»

Что таит в себе этот крик? Тоску по прошлому или тоску по тому, что узно и принято только отцом, таким всепрощающим. Любви, как хочется любви! Всех ко всем. Здесь... Завтра. И всегда... Попасть в ее кольцо и быть в ней уже вечно...

Саша испуганно смотрел на меня в темноте. Тоскливыми, полными слез глазами...

— Я тоже, слышишь, я тоже — хочу...